



Георгий АДАМОВИЧ

Андрей Белый и его воспоминания

Андрей Белый был исключительно даровит. Никто никогда этого, кажется, не оспаривал. Валерий Брюсов, ценитель сдержанный, суховатый и умный, отнюдь не склонный к торопливой восторженности, записал в 1902 году в дневнике, побеседовав с юным студентом:

— Был у меня Бугаев, читал свои стихи, говорил о химии. Это едва ли не интереснейший человек в России¹.

Правда, года три спустя, он сказал ему, — как сам Андрей Белый в «Начале века» рассказывает:

— Хорошо умереть молодым! Вы, Борис Николаевич, умерли бы пока молоды; еще испишетесь, переживете себя! А теперь — как раз вовремя².

Но это была шутка, — во всяком случае, по форме. Если не совсем случайно Брюсов пошутил именно так, то неясно все-таки, предвидел ли он в самом деле, что Белый «растратит свои дары». Совсем недавно, после смерти Белого, многие, встречавшиеся с ним, повторили — в некрологах, письмах или частных беседах — почти в точности слова Брюсова. «Едва ли не интереснейший человек в России». Повторил это в Москве Борис Пастернак, узнавший Белого довольно поздно. Замечательно, однако, что если никто никогда не оспаривал этого, то никто никогда этого и не сказал, не добавив тотчас же одного короткого, необходимого слова: слова — «но». Нельзя написать, что Белый был необыкновенно талантлив или даже, — по распространенному мнению, — гениален, не спохватившись тут же и не принявшись объяснять, себе или другим, почему все-таки мало надежд, что имя его в русской литературе прочно и надолго удержится. Объяснения спорны. В наше время все так стремительно уносится и изменяется, что спорно для по-революционных поколений и самое утверждение исключительности Андрея Белого. Главное же, они, эти поколения, не совсем улавливают, почему современникам Белого так тягостно теперь говорить о нем, почему творческое и жизненное его круше-

ние воспринимается ими болезненно, а его издевательство над всеми друзьями и бывшими приятелями — с досадой и грустью. Удивительный и странный был человек! Вот перед нами три тома его мемуаров: удивительная и странная книга, необыкновенная по меткости отдельных характеристик, по яркости и своеобразию бесчисленных картин, необыкновенная в некоторых главах по какой-то «растерзанности ненасытного сердца», пользуясь выражением самого Белого, — и вместе с тем книга нестерпимая, отталкивающая самоупоеанием, заносчивостью, болтливостью, двуличностью, готовностью от чего угодно отречься, постоянной мелко-бесовской язвительной усмешечкой над всем и над всеми! Андрей Белый был одной из центральных, одной из «ведущих» фигур русского символизма. Читаешь его воспоминания и волей-неволей думаешь: что же, действительно все это было сплошной комедией, сплошным балаганом, с такими же интригами и жалкой закулисной грязью, как везде, но без всякого внутреннего обоснования или оправдания? Что же, действительно столичные, не в меру утончившиеся адвокаты на мистико-эстетических собраниях кололи друг друга булавками, пили из золотой чаши кровь³, а поэты и философы в стихах и в прозе намекали, что это и есть обряд «очищения нашего быта и приветствование новой зари», — и только? Короче, что же, ничего, кроме вздора и взаимного позорного обмана, не было? Нет, стихи Белого противоречат его поздним разоблачениям, самооплеваниям и раскаяниям. Противоречит им такое явление, как Блок, который был его ближайшим «соратником» и в то же время был едва ли не последним в русской литературе воплощением совестливости, по честности и требовательности к самому себе — прямым потомком Льва Толстого. Блок не обманывал наверно и наверно не соглашался быть обманутым: значит, не все было пустой, глупой игрой и в тех настроениях, с которыми он сроднился. Были адвокатские булавки, но было и другое. Что? Трудно теперь, в тридцать восьмом году, когда «иных уж нет, а те далече»⁴, об этом вспоминать и рассказывать. Откроем «Весы» или пестрые, нарядные скорпионовские издания: хочется улыбнуться, перелистывая, и признать, что «не было ничего». Но правильна ли эта оценка? Была молодость, были мечтания, предчувствия, надежды, одиночество, «оранжевые закаты по вечерам». Это, впрочем, было у всех, всегда. Закаты волновали и Вертера. Было смутное ощущение обреченности нашего, нам близкого мира, так внезапно и страшно оправдавшееся. Еще многое такое, что иначе как словами «что-то», «как-то», «куда-то» теперь и не выразишь. Блок мучительно, в течение всей своей жизни, пытался пробиться сквозь идейные и словесные туманы к свету отчетливого смысла и действия, — и «сгорел» в этой борьбе. В Андрее Белом постоянно чувствовался душок доброволь-

ного предательства, Блоку глубоко чуждый, — и он потешался над своими порывами с той же страстью, как служил им.

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизни прожить не сумел!

Не смейтесь над мертвым поэтом.
Снесите ему венок...⁵

Это — стихи Белого, одно из самых характерных для него, беспомощных, пронзительных и прекрасных стихотворений. Неужели надо верить только поздним запискам, ведшимся в состоянии ужасного раздражения и уныния, а таким строкам верить не надо? К трем томам воспоминаний Андрея Белого следовало бы поставить эпиграфом эти слова: «Не смейтесь над мертвым поэтом». Только они и способны немного смягчить впечатление, оставляемое этими книгами.

Позволю себе поделиться воспоминаниями. Впервые я увидел Андрея Белого на его лекции в Петербурге, за несколько лет до войны. В Петербург он наезжал довольно редко, и для тех, кто тогда только начинал умственно и душевно жить, не было и речи, чтобы можно было на доклад его не пойти. О чем он читал, — все равно: Андрей Белый будет говорить, надо, значит, его слушать! В выражении «мы», «для нас» есть всегда какая-то неясность. Кто «мы»? — вправе спросить всякий. В данном случае, «мы» — это поколение, люди, которым кружил головы полуромантический, полурелигиозный тон новой русской поэзии, ее неясные зывания к Владимиру Соловьеву, который будто что-то «знал» и о чем-то «промолчал», ее ожидания чудесных превращений и свершений. Принято считать, что русская молодежь предвоенных лет делилась на «декадентов» и «общественников». Это и так, и не совсем так. После 1905 года в стихи Блока и Андрея Белого вошло слово Россия, правда, в том гоголевском его звучании, которое препятствовало определить, о чем, собственно говоря, речь: географический ли это термин, имя ли народа, сумма культурных традиций и устремлений? Россия — «родина». И Гоголь, и Блок предпочитали называть ее Русью, как более ласкательным, «интимным» именем. Мы, «декаденты», догадывались, что уже о ней думал Блок, рассказывая о своей незнакомке с «очами синими, бездонными»⁶, и что, во всяком случае, время демонстративно-эгоистических замыканий «в области прекрасного» безвозвратно прошло. Безвыходность и бесплодность эгоизма нам была ясна. Белый посвятил один из своих тогдашних сборников памяти Некрасова⁷, и это был знак, что должен быть найден мост. Да и какое же «преображение мира» в башне из слоновой кости, с равно-

душием ко всему, что способно мало-мальски нарушить «часов раздумий сладкий ход»? Деление на декадентов и общественников во многом было основательно. Но не во всем. Судили по внешности. В Петербургском университете существовали семинарии, где утвердилось обращение «товарищ», существовали и другие, где оно вызывало молчаливое осуждение. Общественники-студенты щеголяли косоворотками, эстеты и декаденты — белыми воротничками, что как будто доказывало классовое, социальное расщепление! Но в сознаниях шел порою процесс, далеко не столь же элементарный, и определять его по воротничкам и манерам было бы опрометчиво и близоруко. Не одни только маменькины сынки были увлечены духовным движением, которое на вершинах своих жило ожиданием примирения двух жизненных начал: личного и, как тогда говорили, — «соборного».

На эстраде длинного и, как сарай, мрачного зала петербургского Соляного городка⁸ стоял человек, еще молодой, но уже лысеющий, говоривший не то с публикой, не то с самим собой, сам себе улыбающийся, обрывавший речь в моменты, когда этого меньше всего можно было ждать, вдруг застывавший будто в глубоком недоумении, потом внезапно раздражавшийся потоком безудержно-быстрых фраз. Перед ним был пюпитр, похожий по форме на церковный аналой. На пюпитре горели две свечи в тяжелых серебряных подсвечниках. Лицо Андрея Белого было слабо освещено их колеблющимся пламенем. По временам оратор протягивал к подсвечнику руки и в такой «иератической» позе на три-четыре секунды замирал.

Было в его облике что-то торжественное и смешное. Аналой, свечи и какая-то слишком декоративная назойливая «вдохновенность» речи, — все это явно было бутафорией, притом бутафорией грубоватой и наивной. Но за баловством и очевидным кокетством чувствовалась глубоко-взволнованная, подлинно «ищущая» душа. Сплетение юродства с серьезностью удивляло. Андрей Белый, как равный, спорил с Ницше, или с Гёте, цитировал Платона с такой живостью и запальчивостью, будто творец «Федона» тут же, вот здесь, находится рядом с ним на эстраде, с совершенной естественностью вводил слушателей в круг «вечных вопросов», им внезапно превращенных во что-то насущное, животрепещущее, злободневное, — и вместе с тем ломался, искажался, приседал, подпрыгивал, одним словом, комедианничал... Он и убеждал, и раздражал. Он был слишком блестящ, чтобы убедить окончательно. Параллель с Блоком напрашивалась сама собой, и уже тогда складывалась не в пользу Белого, — хотя тогда-то именно и распространено было убеждение, что Белый «талантливее». Сам Блок, совершенно свободный от обычной литературной зависти, это убеждение охотно поддерживал. Не знаю, правильно оно или не-

правильно, да и нет весов или прибора, при помощи которого можно было бы это проверить! Но если правильно, то приходится сделать вывод, что понятие таланта в узком смысле слова не может быть ни в коем случае признано решающим для определения значения писателя: это одно из слагаемых, не более. Кроме него нужны сердце, совесть, ум, с ним постоянно и неразрывно связанные, а не упражняющиеся сами по себе в придумывании метафизических фокусов, нужна почва, на которой зерно таланта проросло бы. Блок как бы «дорастил» себя, дотянулся в чистом и длительном напряжении до высот поэзии, до права говорить за всю эпоху и представлять ее, до противостояния Пушкину в исторических судьбах русской литературы: каковы бы ни были его «падения», они этому не противоречат! Белый же вольно или невольно сгубил себя, и как бы ни было удобно объяснение, будто «погубить себя, значит спасти себя»⁹, нельзя ссылкой на эти глубочайшие и священные слова покрывать решительно всё! От благочестивого смиренномудрия до кощунства ближе, чем от великого до смешного. Имеет значение — как губить себя и за что.

У Блока было огромное чувство ответственности за все сказанное и сделанное: оно-то и возвысило его. У Белого все всегда было наполовину на ветер, и, как ветер, все пронеслось сквозь его сознание, не пустив корней. Гениальна была у Андрея Белого, в сущности, только его впечатлительность. Он на все откликнулся, схватывал на лету любую мысль, бросал ее, не успев додумать, переходил к чему-нибудь новому, оставлял и это, — он весь раздраем был взаимно-враждебными стремлениями и притяжениями. Но за впечатлительностью не было почти ничего. Во всяком случае, не было личной творческой темы, так явственно сквозящей в каждой строчке Блока. Белый мог быть ницшеанцем, социал-демократом, мистиком или антропософом с одинаковой легкостью, с одинаковой искренностью: врывающиеся в его сознание идеи, результат чьего-нибудь долгого и, может быть, дорого обошедшегося личного творчества, выталкивали сразу всё, чем жил Белый до того, и в пустоте обосновывались с комфортом. Белый проверял их по книгам или догадкам, но у него не было того духовного опыта, в свете которого можно было их по-настоящему рассмотреть. Оттого, в конце концов, все им написанное и сказанное, — кроме нескольких стихотворений, — лишь «слова, слова, слова»... В лучшем случае, — это блестящая импровизация. Ей придает значительность только то, что сам Белый сознавал порочность своей неисцелимо поверхностной творческой природы и, конечно, этим сознанием терзался, пытаясь, как черт у Достоевского, воплотиться в какую-нибудь «семицудовую купчиху»¹⁰: под конец жизни купчиха и явилась ему в образе диалектического материализма и упрощенного, оципанного Лениным, гегелианства. Бе-

лый клялся, что наконец познал истину и обрел тихую пристань. Договорился он даже до необходимости решительной «перестройки» под наблюдением партийных учителей. Но в его писаниях звучала такая путаница чувств и настроений, такая неразбериха стремлений и надежд, такое страдание, наконец, что в перестройку никто не верил. От лекции в Соляном городке невольно переносишься воображением к его беседам с новейшим «молодняком». Что было делать ударникам и литкружковцам, внезапно занявшим посты руководителей русской литературы, с этим растерянным, больным и необыкновенным человеком, то требовавшим для себя каких-то особых материальных условий и обещавшим — в «Записках мечтателей» — создать «невиданные в мире полотна», то утверждавшим, что старые символические мечты нашли свое свершение в сталинской пятилетке, то отрекавшимся от прошлого и издевавшимся над своим детством, над былой своей средой, над друзьями отца и личными своими друзьями. Они сторонились его, считали Белого «обломком». Обломком он и был, конечно, — всегда, везде! Он не мог творчески жить и развиваться, потому что, по-видимому, это не был настоящий «организм». Но обломки бывают разные. Этим — все-таки можно залюбоваться, этот — можно предпочесть множеству иных, вполне благополучных писательских обликов и судеб. Всматриваясь в него, смутно догадываешься, чем мог бы стать человек и поэт, если бы природа не захотела в последний момент поглумиться над своим созданием и, наделив его всеми дарованиями, не забыла научить, как ими воспользоваться.

Три тома мемуаров Андрея Белого — «На рубеже двух столетий», «Начало века» и «Между двух революций» — относятся к последним годам его жизни. Белый был болен, существование у него в России сложилось очень трудное. На него со всех сторон покрикивали. Его учили уму-разуму. Достаточно прочесть первые строки предисловия к «Началу века», написанного Л. Каменевым, — тогда, еще в 1933 году, еще, в качестве авторитетного марксиста, судившего, где добро и где зло, где истина и где заблуждение, — чтобы понять, в каком положении Белый очутился. Предисловие обыкновенно имеет характер рекомендации. Вот что писал Каменев в начале его:

«С писателем Андреем Белым произошло трагикомическое происшествие: комическое, если взглянуть на него со стороны, трагическое — с точки зрения переживаний самого писателя. Трагикомедия заключалась в том, что, искренно почитая себя участником и одним из руководителей крупного культурно-исторического движения, писатель на самом деле проблуждал на самых затхлых затворках истории, культуры и литературы»¹¹.

Вот заключительные строки предисловия:

«Октябрьская революция спасла кое-кого из этого поколения буржуазной интеллигенции, например автора “Начала века” — и, быть может, спасет еще кое-кого. Но чтобы спасти их, она должна была взять их за шиворот и сорвать с того пути, по которому они двигались, ибо по самому своему характеру это была обреченная на гибель группа. Без Октябрьской революции путь ее был предопределен. Наиболее “деловые” и “серьезные” из них, вроде Мережковских или Булгаковых, стали бы архиереями светской церкви штампованной буржуазной идеологии, а другие, менее устойчивые и менее солидные, — шутами при ней»¹².

Белый добавил к тому, что написано было Каменевым, несколько слов «от автора»¹³:

«Воспитанные в традициях жизни, которые претят, в условиях антигигиеничных, без физкультуры, без нормального отдыха, веселых песен, товарищеской солидарности, не имея возможности отдаться тому, к чему тебя влечет инстинкт здоровой природы, — мы начинали полукалеками жизнь. Юноша в двадцать лет был уже неврастеником, самым противоречивым истериком... Странен для нашего времени образовательный стаж наимобразованнейших людей моего времени. Я рос в обстании профессоров, среди которых был ряд имен европейской известности. С четырех лет я разбирался в гуле имен вокруг меня: Дарвин, Геккель, Спенсер, Милль, Кант, Шопенгауэр, Вагнер, Коперник и так далее. Не было одного имени — Маркс... Я не читал: Маркса, Энгельса, Прудона, Фурье, Сен-Симона, Бюхнера, Молешота, — стыжусь, — Чернышевского, Ленина. Что же я читал? Лейбница, Канта, Шопенгауэра, Гартмана, Ницше, Платона...» Слово «стыжусь» к этому списку не добавлено, но выбором чтения Белый горестно и смущенно мотивирует, что, «борясь» с Кантом, «я ничего противопоставить Канту не мог». Горечь и смущение испытывает он, вероятно, в самом деле и заражает ими читателя. Но смущение это, так сказать, «с другой стороны».

Отдельные томы несхожи между собой. Первый, детский, посвященный московской профессорской среде и отцу поэта, знаменитому математику Н. В. Бугаеву, при всей своей желчности все-таки спокойнее и «добрее» второго, а в особенности последнего. Первый — для Белого сравнительно мало показателен, так как в чуждой ему атмосфере автору не удастся развернуться. Автор издевается чуть ли не над всеми, кого вспоминает, но издевается без «вдохновения», без наслаждения! Что ему московские профессора, что ему, например, Максим Ковалевский, у которого «сидел я на коленях, поражаясь мягкости его живота», или Янжул, «под животом которого я игрывал»?¹⁴ Почти всех друзей и сослуживцев отца Белый изображает чудаками, поясняя, впрочем:

«Я хочу, чтобы меня поняли: чужак в условиях современности — отрицательный тип; чужак в условиях описываемой эпохи — инвалид, заслуживающий уважительного внимания»¹⁵.

Портрет отца удивителен. Он строен, сложен и блестящ. Не берусь только судить, насколько он правдив именно как портрет, а не как поэтический образ. Однако за давностью лет первый том воспоминаний Белого легче воспринять именно как поэтическую фантазию. Едва ли ученая Москва конца прошлого века была сплошь чужаковой и даже придурковатой, как хочет ее представить автор, — и, вероятно, такие, например, страницы следует скорее отнести на счет его иронического воображения, чем признать в них беспристрастие летописца.

«Много я бытов видал, во многих бытах я жил, но такого ужасного, тусклого, неинтересного быта, какой водворила профессорша восьмидесятых годов, я, бежавший давно от профессорш, — могу смело сказать, не видывал я такого быта: купцы, офицеры, художники, революционеры, рабочие, крестьяне жили красочнее среднего профессора и средней профессорши; ни у кого “как у всех” не блюлось в такой твердости; ни у кого отступление от “как у всех” не каралось с такой жестокостью! Профессор сидел заключенный в своем кабинете с профессоршей, за него тарахтящей; в гостиной она тарахтела; он глупо мычал и улыбался; в результате вынашивалась тиранша, которой внушалась власть неограниченная и тупая».

Впрочем, кое-что подлинно-интересно и в качестве свидетельства летописца. Например, рассказ о В. И. Танееве, московском адвокате, который, по-видимому, был чужаком настоящим. «Его идеалами были: Робеспьер, Пугачев. Он собрал ценную коллекцию изображений Пугачева. Одно из них, увеличив, повесил, как икону, у входа в свой собственный библиотечный зал, и всякого, ведомого в зал (это был ритуал), останавливал перед иконой, прочитывал лекцию и после, отвешивая нижайший, до полу поклон не то Пугачеву, не то собственным словам о нем, припевал плачущим громким голосом, напоминавшим голос Толстого:

— Вот самый замечательный, умный и талантливый русский человек!»¹⁶

У Танеева, как вспоминает Белый, существовала любимая фраза, которую он постоянно повторял:

— Это будет, когда мужики придут рубить нам головы.

Московские его собеседники посмеивались. Но «чужак» оказался, надо сознаться, довольно дальновидным человеком.

Второй и третий тома теснее друг с другом связаны, хотя и отличны все-таки по общему тону. Третий том писан Белым незадолго до смерти, когда ему, очевидно, все уже было более или менее безразлично. Он обижен был на целый свет, он сводил счета

с каждым, кого вспоминал. Каждому доставалось по-разному, а изобретательность Белого в придумывании особенно оскорбительных и отвратительных характеристик была неистощима. Откровенную грубую брань неприятно, а часто и больше, чем неприятно: непристойно — повторять. Поэтому о многих страницах второго и третьего тома не хочется вовсе упоминать. Надо только подчеркнуть, что, опустившись и обрюзгши духовно, Белый ничуть не ослабел как художник. Попадают у него главы поистине ослепительные, полные какой-то дьявольской изобразительной силы и злобы. Но какое коварство, — и откуда оно! Строки о Розанове, которого Белый величал когда-то «одним из первейших писателей русских»: «Можно ли назвать разговором варенье желудочком мозга обо всем, что ни есть: о Мережковских, о себе, о Петербурге? Он эти отправления выбрызгивал с сюсюканьем без конца и без начала. Какая-то праздная и шепелявая каша с взлетанием бровей. В варенье было что-то наглое, в невиннейшем виде — таймая злость».

Или глава о Вячеславе Иванове, которого Белый называл «мудрецом и учителем». «Был период, когда я подумал: не волк ли сей овцеподобный наставник?.. Недоставало только, чтобы он, возложивши терновый венец на себя, извлек восклицание:

— Се человек!

Прошу не смешивать с евангельским текстом. В контексте с показом Иванова “се человек” означает:

— Се шут!

Таким мне казался он. Казалось, что вырос он из немецкого учителя в какого-то Мельхиседека. Прошу не смешивать с Мельхиседеком библейским. В контексте с показом Иванова Мельхиседек означает: почти шарлатан.

Ставший в России поэтом, почтенный профессор Иванов совсем обалдел, перепутавши жизнь с эпиграфикой, так что история культов от древних Микен до руин Элевзиса, попав из музея в салон, расцвела в чепуху. Видно, бросилась в голову кровь, застоявшаяся в семинарии!»

О других лучше промолчать, щадя прежде всего самого рассказчика. Выделяются, пожалуй, только некоторые записи о Гершензоне, об Александре Бенуа, в особенности о Федоре Сологубе.

У Сологуба давно и прочно сложилась репутация тяжелого, резкого на язык человека. Но все, видевшие его в старости, после революции и после гибели его жены А. Н. Чеботаревской, сходятся в том, что он как будто преобразился, «просветлел» от несчастья и стал в скромности и простоте своей обаятелен. Белый посвятил ему самые сердечные, — без всякой сентиментальности — страницы в книге.

«Лишь последние встречи показали мне его совсем неожиданно. Я имел каждый день удовольствие слушать его. Он так красиво говорил, вспоминая свои впечатления от певицы Патти, что, Патти не слыша, я как бы заочно услышал ее! Он перед смертью силился вобрать все в себя и на все отзываться. Иванов-Разумник и я молча внимали тем песням: он казался в эти минуты седым соловьем.

В четыре часа являлся пылающий чай в тихой квартирке Разумника. В окна глядела доцветающая сирень. Разумник Васильевич начинал стучать в стену, и в ответ хлоп-хлоп входная дверь.

— Это Федор Кузьмич!

И шаги, и запых. Алебастровая голова лысой умницы, белой, как лунь, появлялась к чаю. Садясь за стакан, он хмурил и похивал:

— Тяжко дышать!

Чаю откушав, старик просветлялся. С растерянной, ставшей нежной улыбкой, сиял голубыми глазами на все и рассказывал точно арабские сказки: о Патти, о жизни, о строчке стиха. Четыре часа журчал он каждый день. И бывало заслушаешься. И я, его бегавший двадцатилетия, улыбался с утра и думал: «И сегодня явится сказочник Федор Кузьмич»¹⁷.

С Блоком у Белого отношения сложились трудные. Воспоминания его о нем, помещенные в берлинской «Эпопее», достаточно известны. Однако в книге «Между двух революций» много и нового. Неожиданна — явная недоброжелательность. Не стану подозревать автора записок в том, что утвердившаяся и окрепшая за последнее десятилетие слава Блока в соседстве с померкшим его собственным ореолом внушила ему враждебные чувства. Как знать, чем они вызваны? Но если и прежде Белому случалось упрекать Блока в идиотизме, в «чепуховитости» и в «абсолютном отъединении от всякой мыслительной культурности» («Начало века»), то в самые последние годы жизни он пошел много дальше. Он уже не Блока упрекал, а себя в том, что «образ серого Блока был мною вычищен».

«Воспоминания, напечатанные в “Эпопее”, продиктованы горем утраты. В них образ серого Блока произвольно мною вычищен: себе на голову. Чтобы возблистал Блок, я вынужден был на себя напялить колпак! Не могу не винить себя за фальшь ложного благородства»¹⁸.

Белый не склонен больше к «самоунижению и донкихотству», не желает, чтобы Блок у него «блестел, как самовар». Сравнение с самоваром красноречивее всех дальнейших рассуждений и выдает чувства, с которыми мемуары писаны. Сколько бы Белый ни говорил о своем «благородном друге, в рассказе он останавливается на чертах, с благородством имеющих мало общего. Правда, рассказ

чик скрывается за спину поэта Сергея Соловьева, вместе с которым гостил у Блока в деревне, образуя «троицу друзей». Это Сергей Соловьев восклицал: «Нет, каков лгун, каков клеветник!» Это Сергей Соловьев назвал «Балаганчик» — «шедевром идиотизма». Но Белый молчит и не отмежевывается от этих оценок. Обычная его словоохотливость изменяет ему как раз в тот момент, когда было бы до крайности интересно узнать, каковы были его личные суждения.

Поставим здесь точку. Цитаты, надеюсь, убедили, что все, сказанное до них, не было совсем голословно. Книга валится из рук, хотя и есть в ней — как же этого не чувствовать и не слышать! — тот дребезжащий звук «оборвавшейся струны», который вместе с широчайшей умственной порывистостью облагораживает писания Белого. Книга ужасна, но с недоумением читая и перечитывая его, вспоминаешь все-таки, чем и почему Белый когда-то был дорог и за что многие любят его и до сих пор.

Судить Белого не будем. Прощать ему что-либо или не прощать — не наше дело. Но и восхищаться разносторонне-разработанным, виртуозным предательством, с оправдательными восклицаниями вроде «что за талант!» — откажемся. «Не смейтесь над мертвым поэтом». Можно было бы поставить и другой эпитафия к воспоминаниям Белого, — то, что «невольню думалось» когда-то Тургеневым при виде Гоголя: «Какое ты умное, и странное, и больное существо»¹⁹.

